

**В.В. Розанов**

**Что против принципа творческой свободы нашлись  
возразить защитники свободы хаотической?**

*По изданию: Собрание сочинений. Том 28. Эстетическое понимание  
истории. Москва, 2009 г.*

*Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» № 7, 1894 г. под одноименным  
названием.*

---

Я не удивился, прочтя в апрельской книжке «Русского Обозрения», в унисон запевшего с «Вестником Европы» строки о свободе<sup>1</sup>; в век, когда есть лишь степени безверия — свобода верующая так мало может быть понятна; в эпоху, доканчивающую ей предназначенную миссию разрушения — так непонятен труд, созидание, утверждение. И вот, неживой консерватизм протягивает руку мертвому либерализму; им кажется — творчество могло бы помешать их дебатированию; их призывают к вере, когда они хотели бы рассуждать; они вспоминают перья на шляпе маркиза Позы, зовут тень Гамлета, — они, худосочные питомцы тех праздных, но поэтических вымыслов. Что церковь, что история, что вдали веков пролитая кровь мучеников, и еще за ними — совершившаяся тайна Искушения; перед ними подмости, красивый актер, — и неужели прервав его речь, не дослушать волны чарующих звуков, которые идут от него, десятилетия их слушают, и неужели теперь, сегодня, встать и куда-то пойти, — быть может, на сырость, холод, мрак; ведь так удобно в этих покойных хорах, среди этого света, теплоты, плечом к плечу в рядах благоговейных слушателей...

---

<sup>1</sup>Л. Тихомиров. «Существует ли свобода?». Автор, в течение долгого времени ведущий на страницах «Русского Обозрения» полемику против «Вестника Европы» и, в частности, против г. Вл. Соловьёва, в статье, против меня направленной, протягивает ему руку; как и г. Вл. Соловьёв, опровергая меня, ссылается в одном месте на его авторитет г. Тихомиров.

Мне хочется, ввиду совершившегося унисона, расчленить звуки каждого и взвесить их тяжесть. Я этого не сделал, отвечая г-ну Вл. Соловьёву, ввиду почти отсутствия у него каких-либо возражений по существу вопроса; теперь попытаюсь собрать крохи его умствований, и пусть оценка их принадлежит читателю.

Против утверждения моего, что свобода без отношения к достигаемому объекту, без веры в выполняемое назначение, хаотична, бессмысленна и для всякого человека не нужна, «безвкусна», он, как бы не чувствуя указываемого в ней момента веры, говорит, что и вне этой веры, лишь в разрушительных целях, она нужна и сладостна для человека. Он сравнивает ее с «воздухом, который всегда и всюду нужен»<sup>1</sup>; но ведь для *живого* нужен он, для легких, которые его *тянут* в себя, и не нужен разлагающемуся трупу, неподвижной груди, не нужен ничего с силою не утверждающему индифферентизму; а для веры — я же для *нее* требую свободы, во имя этой ее *веры*, в *границах* ее утверждения. Воздух для недышащего есть только момент скорейшего разложения; его удаляют от трупа, когда последний хотят сохранить; и неужели, неужели в странах преимущественной свободы, как западные, как Америка, не видно и преимущественно быстрого разложения всяких остатков прежней веры — религиозной, философской, политической? Везде и все великие исторические организмы там умирают; и если момент умирания в них порожден иссякновением в себя веры, быстрота этого умирания обусловлена избытком не вдыхаемого, не нужного и только заражаемого «воздуха».

Этот принцип так ясен и тверд, что, сбиваясь в словах, путаясь в мыслях, мой противник, как только его формулирует, невольно впадает в согласие: «Иудушка утверждает, что только вера имеет право на свободу; только поверив, он говорит, я могу требовать некоторой свободы. Положим так: насколько дело идет о свободе исповедания и проповедания, само собою понятно, что *кому нечего исповедовать и проповедовать, тот и в свободе для этого не нуждается*»<sup>2</sup>. Он думает, факт проповеди, выражения словесного, физического действия уже *implicite*<sup>3</sup> заключает в себе факт веры; но во что же была вера, к какому делу были приставлены, что им нужно было, когда, видя идущего мимо лысого пророка, мальчишки бежали за ним, ругаясь и издеваясь, и он

---

<sup>1</sup> «Вестник Европы», февраль 1894 г., стр. 910.

<sup>2</sup> Там же, гл. III возражения.

<sup>3</sup> Неявно, в скрытом виде (*лат.*).

проклял их? В чем помешала Вольтеру Жанна д'Арк, что он написал на нее памфлет? И не видим ли мы всюду праздных людей, которые в то время как строители строят, кладут камень за камнем, — ходя около постройки, сбрасывают за камнем камень, ибо день ясен, солнце печет, и зачем бы это здание, для кого и с такими прочными стенами, массивными сводами? И так каждый безверный, выполняя закон всякого существа — трудиться, не имея перед собою предмета собственного труда, цели своего созидания, эту целью, этим предметом избирает чужой труд и его разрушает: делом, и когда нельзя, пока нельзя — хоть словом, издевательством, доказательством ненужности данного труда.

И, забывая далее историю, не имея логики, мой критик продолжает: «Если, однако, факт веры дает право на свободу, то, при множестве разных существующих вер, каждая из них будет иметь одинаковое право со всеми, что и называется веротерпимостью»<sup>1</sup>. Но кто же в верующей толпе скажет: «Есть много разных существующих вер»; и апостолы, юная церковь Христова, идя в языческий мир, разве, останавливаясь перед капищем Юпитера, спрашивали: «Не заглянуть ли туда, может быть Юпитер жив?» или крестоносцы, придя на Восток, спрашивали: «Не в самом ли деле был пророк Магомет?» и разве Бруно, входя в смысл его осудивших, задавался вопросом: «Не правы ли они и я не ошибся ли?». Нет, это были все, как они ни различны, люди веры, и у каждого верующего есть одна вера, нет пантеона, куда он сносит со всего мира умерших богов, чтобы всем им равно воздать курение и никому не отдать сердца.

Факт одной веры у всякого, кто живо ее ощущает, моему критику представляется возможным лишь для дикаря; забывая, не понимая (безверный сам), что не за «одну из многих возможных вер» страдали мученики, всходили на костер праведники науки, он говорит: «Это — закон, которому следовал в своей жизни африканский дикарь, говоривший миссионеру: когда у меня уведут жен и коров — это зло, а когда я уведу у другого — это добро»<sup>2</sup>. И ему кажется, что «не иначе рассуждает всякий зверь и всякая птица»<sup>3</sup>. Факт, совершаемый вне сознания добра и зла, он здесь не различает от веры исповедуемой; ему кажется, истина в глазах каждого должна двоиться и троиться, и, читая *свой* символ, всякий должен вплетать в него слова и всех других сим-

---

<sup>1</sup> Там же, гл. III.

<sup>2</sup> «Вестник Европы», стр. 911.

<sup>3</sup> Там же.

волов: тогда речь будет обильна и правда где-нибудь уловлена. Конечно, и вероятно даже, но тот, кто произносит такой символ, конечно, не верит ни в который и равно разрушает все.

Ему кажется непонятным, чтобы как он свой, церковь не путала свой символ с чужими; ее вера — для него непостижима, и мое утверждение, что в церкви эта вера есть, ему представляется «клеветой»<sup>1</sup>. Как он, заглядывая во все капища, колеблется между Спасителем, Гартманом, экономистами, так, ему думается, и церковь к ним всем равно прислушивается, и самое большее, что делает, что вправе делать — это склонять к одному внимание преимущественно перед другими. Чтобы их к «капищам» была у нее нетерпимость — «этого мы еще ни от кого не слышали, кроме Иудушки»<sup>2</sup>, «против этого свидетельствует даже Л. Тихомиров, заявляющий: конечно, терпимость есть правило самого православия». Он кротость, милосердие к греху смешивает с неведением, что есть грех; и требует, чтобы церковь, болящая и страдающая о грехе, пришла и разделила с ним любование на этот грех. «Простить» для него есть непременно не поднять руки, удержать всякое к этому движение в себе; но ведь и мать прощает дочь свою погибшую, — однако, предвидя ее гибель, если б она отстранилась и стояла в стороне, лишь созерцала эту гибель, конечно, она была бы для нее не мать, и даже менее, чем только посторонняя; *после* греха и *при* раскаянии простить, слиться в слезах даже с преступником, вернувшимся к истине — это должна мать, к этому обязана и даже влечется своим законом церковь; «сердца *сокрушенного*» не уничтожит Бог, но уничтожит несокрушенное, смирит гордое даже и в грехе; так было; дурно, что не есть; так будет; и этому должна следовать Богом руководимая церковь. Грех — то, в чем все ее чада тонут, и церковь есть рука, из этого греха всех поднимающая. Удерживать ее руку, указать ей лишь созерцание — значит закон своего холодного, индифферентного сердца странным образом принимать за закон Бога. И ни с чем другим кроме как с грехом церковь не имеет соотношения; напрасны усилия подсунуть ей таблицы мер и наказаний, сказать «не менее», указать — «не далее»; и малое, и большое, и далекое, и близкое содержится в ней самой, определяется ее нуждою спасать, чем, как — не мы, спасаемые<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> «Иудушка клеветает на православную церковь» – так озаглавливает, в роли ее защитника, четвертую главу возражения против «Свободы и веры» г. Вл. Соловьёв.

<sup>2</sup> «Вестник Европы», стр. 912.

<sup>3</sup> И не все, во что, помимо церкви, мы слагаемся как в союз. Древнейшая, чем всякий союз, и по корням своим не связанная ни с каким, – не связанная ими в душе каждого верующего, в ските уединенном, в монастыре – если она и стесняется иным каким союзом, как бы ущемляется исторически, – конечно, это временно, не носит в себе никакой

ей укажем.

## II

Понимая все формы религиозного сознания как искажения или недоразвития до собственного, церковь не может допустить<sup>1</sup>, чтобы ее чада из полноты возвращались к недостатку, из прямого становились кривым. Вера яркая, чтобы становилась тусклой (протестантизм), истинная — ложною (католичество), что за странное усилие, к чему оно, к чему самый о нем вопрос — у верующего? А кто не верует — уже не в церкви, и, в силу исторического отношения вещей — не в том, что составляет ее часть, ею было согрето, выношено, взрощено: не в народе своем и не в стране. Не может Церковь верующая включать в себя и то, что не есть верующее в нее; и как Восточная католическая церковь, наравне со многими другими странами и народами, объемлет и наш, — всякий, кто из нее как целого вышел, вышел и из всякой ее части, народа, страны, царства. Цельность, которую мы так понимаем в индивидууме, не отвергаем совершенно в обществе неорганизованном и признаем вообще во всяком союзе, — более, чем в каком-либо из них, есть в церкви. Она есть вечный союз человека с Богом, только момент, в котором есть наша земная жизнь, часть — и страна наша, и народ, его история, и по нитям которого тянется жизнь каждого из нас, звуча совместно с другими в одном аккорде. Струна порванная сбрасывается с инструмента и заменяется новою; пусть она еще струна, и даже — две коротких с четырьмя концами: здесь и теперь она не нужна, и кто в ней нуждается — пусть подберет ее, но отсюда она должна быть сброшена. Есть совесть, есть грех, есть возмещающее страдание не для лица только; разве *эпоха* не может быть преступна? народ, *поколение* разве не терпит иногда за то, что совершено было иным поколением? Итак, молиться, страдать, размышлять человек может не индивидуально только, но и в собирательном множестве своих моментов, как струна звучать — не только одна, но и в гармонии со множеством других. Смысл индивидуального существования темен для каждого; яснее этот смысл для народа, и в нем каждый может отчетливее понимать себя; окончательно ясен он в церкви, и в свете его могут читать себя народы, в них — индивидуумы. Вне этого — темнота, ночь; книга с перемешанными страницами, нестриженными, разбросанными. Кто хочет —

---

необходимости, кроме, быть может, нравственной в отношении верующих: как наказание за их слабоверие для укрепления их в вере.

<sup>1</sup> Мы возражаем на требования г. Вл. Соловьёва и говорим о нашей стране, нашем православном народе.

может собирать их, разгадывать; не к чему требовать внимания к себе других.

### III

Но вот из этих струн некоторые хотели бы и не звучать, или звучать вне согласия с другими, и вместе занимать между ними положение, отвечающее не достоинству струны, но только издаваемого ею звука. К чему это, возможно ли? какой нужде остальных струн, какой нужде благородной в самой замолкнувшей или дребезжащей струне может это отвечать? Не как физический организм нужен я истории, и было бы унижительно для меня, бессмысленно для нее, если бы было так; но как деятельность некоторая и внутренний ее родник, моя душа — вот что нужно ей, и это как возвышает меня, так и осмысливает ее. Снять эту печать мысли с истории, достоинство с меня, — какая нужда для меня, для кого-нибудь: мы все влечемся именно к этой гармонии, этому слиянию в созвучии, а не к существованию бок о бок, один возле другого. И лишь физический протест нескольких обрывков, которым здесь и теперь, между звучащими, хотелось бы без звука или со звуком бессмысленным быть, — конечно, этот протест презрен и не может быть принят в какое-либо внимание. Нам говорят о страдании, нам говорят о «свободе»: есть худшее, чем оно — молчание, есть лучшее, чем она — мелодия. Кто, видя историю, захотел бы «свободно» — смешать ее процессы и, смешав, этим смешением остаться сыт? Конечно, мы все, весь род людской, этого не допустим: страдать нам указал Бог, молчать может принудить только смерть. Мы все природою своею благородною принуждены; мы подзаконны; и как подзаконный тесный брак лучше блуда, мы этот блуд ему не предпочтем.

### IV

Какое низкое понятие о счастье — что оно в сытости, не очень большой усталости и хаотической свободе заключено. Разве нельзя быть счастливым, и гораздо выше, гораздо полнее, при абсолютной стесненности, когда знаешь, что эта стесненность отвечает чему-то великому, нужна тому, что останется и после меня вечно жить? Толпа разбежавшихся дезертиров, инструмент с порванными струнами, огород с поломанным забором, куда идет каждый за нужным себе овощем, неужели, неужели этим только живет человек, это одно, будто бы, ему нужно, одно и выражает, и может удовлетворить его, — что же, изнеможенную уже — природу? И неужели для этого только он на земле?

всегда для этого, как был прежде, так и останется? Но ведь ввиду каких-то определенных звуков устраивался инструмент, для какой-то цели были собраны разбежавшиеся теперь, и огород насаждался же кем-нибудь и для чего-нибудь? Есть нудящая мысль в истории; ей можем ответить мы и в этом ответе найти высшую для себя радость; если, однако, и не ответим — понудимся, но уже как стадо, гонимое — куда, оно не знает само. Разве в самом хаосе, который один мы почему-то любим, к нему одному влечемся, нет давно уже чего-то принудительного для нас? Кто имеет силы в нем остановиться, как-нибудь ему воспротивиться? Какое ожесточение на лицах всех при мысли, что этот хаос может быть и не вечен, — он, который и на минуту так мало может истинно насытить кого-нибудь. Мы все давно не свободны — в безобразном; быть несвободным в прекрасном — вот что кажется нам ужасно, и самая мысль об этом — антиисторической, преступной.

---

Кроме указанных обрывков мысли, никаких еще аргументов против принципа творческой свободы г. Вл. Соловьёв не мог выставить. И, без сомнения, не оттого, что он не хотел искать их, но потому, что тою долей философского понимания, которой не лишен, он понял, до какой степени хаотическая свобода действительно несовместима с верою, и между тем для этой последней трудясь, он для нее трудился под покровом первой. Он чувствует, ему необходимо отказаться от веры, удерживая свободу, или от свободы, называя себя верующим. И вот, не имея в себе мужества философа, ни прямоты христианина, он заминает, запутывает вопрос, и самое имя человека, который его поднял, усиливается похоронить под грязью ругательств<sup>1</sup>. Но, конечно, гораздо ранее

---

<sup>1</sup> Имя Иуды (им заменено всюду в его ответе мое имя), вероятно, кажется особенно ужасающим моему противнику и, мы думаем, это не без связи с столь изменившимся его отношением к славянофилам, Каткову, наконец, к самому православию. Мне это имя только напомнило фазы его деятельности, и ничего не напомнило в собственной. Так как, однако, его статья всем тоном своим старается внушить мысль, что я в чем-то иной теперь, чем прежде, то вот слова мои о свободе и о церкви, высказанные в *первом*, мною изданном, труде, восемь лет назад: «Конечная форма, к которой стремится религия, определяется из следующих трех ее направлений: направления к истине, направления к оживлению религиозного чувства и направления к полноте господства. И в самом деле, кроме этих трех начал ни к чему другому не стремится религия, к ним же стремится всюду и постоянно. Так, религия (но не служители ее, которые бывают несовершенны) никогда не терпит в себе лжи; вся основанная на вере, она никогда не может ни действовать, ни существовать с тайным сознанием ложности того, во имя чего действует и существует; и все, что вносится в нее заблуждениями людей, раз будучи сознано, как ошибочное, всегда

будет похоронен сам, нежели хоть йота истины, которая, из мрака неведения выйдя к свету, хочет жить — перестанет жить.

## V

Г-н Л. Тихомиров — его статья «Существует ли свобода» также направлена против выясненного мною принципа — принадлежит к немногим ясным писателям, на которых, соглашаясь с ними или не соглашаясь, невольно отдыхаешь после того болезненного, конвульсивного, затуманенного бреда, какой нанесли в нашу литературу «девяностидесятники», еще ранее их «восьмидесятники»<sup>1</sup>, и, кажется, едва ли не первый потянул к нам с запада г. Вл. Соловьёв со своею смесью теургии, экономики, парламентаризма, папства<sup>2</sup>, и, кажется, всего, что от золотых времен Сатурна и до наших грелось и играло под солнцем истории. После этой занимательной литературы, которой еще вчера не было никаких симптомов и сегодня она наполняет все журналы, всю прессу, также невольно и радостно отдыхаешь даже на каком-нибудь

---

уничтожается ею в себе. Далее, религия терпеливее переносит борьбу против себя, нежели равнодушие к себе, и это также не потому только, что равнодушие здесь опаснее ненависти, но и еще потому, что, чувствуя свое мировое и спасающее значение, она еще может понять, как люди не сразу уразумевают смысл ее и потому ненавидят ее, но не может понять, как, и уразумев этот смысл, они еще могут оставаться спокойными и свои маленькие дела предпочитать ее великому делу; не может примириться с этим, потому что здесь лежит невозможность самого спасения, сознание, что некого спасать и не для кого было приходиться в мир. На этом же, на сознании своего мирового и спасающего значения, основано и стремление религии к господству над всеми людьми и над всеми сторонами их духа и жизни. *По самой природе своей, религия не может и не должна быть терпима, и та из них, которая уже не борется более, которая успокоилась, полна тайного атеизма, сознанныго или бессознательного. Как тот, кто видит погибающего человека и не спасет его, есть бессердечный человек, что бы ни говорил его язык; так религия, знающая, что есть хотя один еще не спасенный ею человек и остающаяся равнодушною к этому, тайне уже думает, что иное, а не она, спасает человека, или что нет никакого в действительности спасения, о котором говорит она. И как бы могущественна, по-видимому, ни была такая религия, «секира уже лежит при корне ее»; потому что атеизм не есть религия, но только атеизм. Итак, религия истинная, всемирная и живая есть та конечная форма, к которой естественно и необходимо стремится религиозное сознание всего человечества, и на которой оно успокоится. См.: «О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». Москва, 1886 г., стр. 618-619. Как для всякого ясно, это те самые мысли, которые полнее и мотивированнее развиты в статье «Свобода и вера». «Русский Вестник», 1894, янв.*

<sup>1</sup> Так, оттеняя себя от предыдущих писателей, называли себя писатели, выступившие в 80-х годах: «Шире дорогу, восьмидесятник идет», — передано было в свое время восклицание одного из таких.

<sup>2</sup> См. его «Критику отвлеченных начал», в связи с последующею деятельностью.



диковрущем «шестидесятнике»<sup>1</sup>, как, выйдя из больницы на улицу, невольно с удовольствием останавливаешься на зрелище пьяного растерзанного человека после того, как несколько часов видел изможденные фигуры, пытающиеся прогнившим языком произносить молитвы и трясуещую рукой положить на себя крест... Странное понятие, что к религии имеют какое-нибудь отношение и всякие больные о ней помыслы; что все есть философия, что очень нелепо; и мистицизм истинный — что не имеет для себя никакого объяснения и вообще всякого *raison d'être*<sup>2</sup> для своего бытия. Это жалкое стадо, которое немного лет назад было встречено так шумно и радостно, пока из-за пыли еще не показалось голов, — теперь, когда блеющие головы так ясно вырисовались, внушает смех и досаду за минутную, не основанную ни на чем надежду.

Чрезвычайная отчетливость выражения составляет главное достоинство г. Л. Тихомирова, и отсутствие длящихся мыслей, какого-нибудь сложного созерцания — его недостаток, как писателя. Как искусный дебатер в парламенте, он стоит перед полуотворенною дверью «свободы», и ввиду толпы, напирющей на нее то извне, то изнутри, вызывает каждого словесно победить его прежде, чем он допустит сколько-нибудь расширить проход или его сузить. То, что его занимает так пристально только вопрос о свободе<sup>3</sup>, сообщает некоторую бессодержательность его писаниям: не понимаешь, зачем эта дверь не отворена; не понимаешь, почему ей не затвориться совсем; можно подумать, что узкая лента света перед его глазами ему нравится сама по себе, независимо от всего другого, как некоторая философская *ding an und für sich*<sup>4</sup>. Вообще он сильнее своих противников<sup>5</sup>, и, по-видимому, это сообщает ему некоторое удовлетворение; когда его спрашивают, что за дверь и стоит ли что-нибудь там охранять от «воздуха», хотя бы и разлагающего, он отвечает, что об этом нет вопроса и предлагает, взглянув на ленту, доказать, что она недостаточно красива. Ему пред-

---

<sup>1</sup> Для примера можно бы провести параллель, напр. между Лесевичем и Вольтским (в «Северном Вестнике») или г. Шелгуновым и г. Мережковским (автором «О причинах упадка современной критики»), и т. д.

<sup>2</sup> Разумного смысла (фр.).

<sup>3</sup> См. ряд превосходных его статей, вращающихся все только около этого вопроса, в «Русском Обозрении» за последние два года, и также отчасти в «Московских Ведомостях».

<sup>4</sup> Вещь в себе и для себя (*нем.*).

<sup>5</sup> Он ведет, вот уже давно, непрерывающуюся полемику с хроникером «Вестника Европы» и с г. Вл. Соловьёвым, причем его перевес в мысли, доказательности так чрезмерен, что его противникам не остается ничего кроме казуистики слов, убедительной разве для очень давних подписчиков журнала.

ставляется, что нет других вопросов; нет иных нужд, иных точек зрения, как с его стула. И вот почему у каждого, в речи кого он слышит слово «свобода», он думает — идет речь именно о полуотворенной двери, которая его так занимает.

Конечно, в том очень хаотическом, очень неопределенном и всего менее необходимом процессе, какой совершается *по сю сторону* «двери», нет вовсе той принудительной закономерности, о которой<sup>1</sup> я сказал в статье «Свобода и вера», что ей принадлежит совершенная свобода и также незнание законов чего-либо, от себя отличного. Разве среди нас, разрушенного отброса разрушенных веков, есть истинно верующий? Итак, речь была не о нас, не о теперь<sup>2</sup>. Но если бы среди нас явился, если он когда-нибудь явится — человек веры, все, мною сказанное, будет принадлежать ему. И принадлежит также теперь единственному, в чем вера составляет самое существо — церкви<sup>3</sup>: без внимания ко всему, вне ее лежащему, истину утверждения своего, умаленного, замолчанного, загашенного тысячами звуков, прерывая эти звуки, разрушая это молчание — она может утвердить. Церковь пусть войдет во всю полноту канонов, не отмененных, но и неисполненных — вот что мне хотелось сказать, что одно я мог иметь в виду, и не желая отворять «дверь», и не желая ее суживать, и считая самую дверь и все за ней происходящее очень временным и для меня, по крайней мере, ни-

---

<sup>1</sup> «Есть некоторый *внутренний* процесс, или мы должны представить его себе, *цельный, неразрывный, по необходимым законам совершающийся*, принадлежностью которого только и может быть свобода, в отношении к которому мы можем единственно понять ее» («Русский Вестник», янв., стр. 268). Уже из тех периодических и частых *саморазрушений*, какие испытываются в нашей истории за последние два века, можно видеть, как мало указанные определения принадлежат ей.

<sup>2</sup> «Не один г. Розанов отрешается от уважения к свободе (как будто не я утверждаю ее способом гораздо более сильным, чем ее воображаемые защитники, в действительности лишь протипуирующие ее) и понимания ее. Это также тенденция *программно протипуирующих ему передовых направлений*, тех, которым, может быть, даже принадлежит будущее в Европе. Г. Розанов только *откровенно уничтожает слова, которые в передовых программах сохраняются по недоразумению или для обмана*. А затем, как он собирается *вознать личность в одну тюрьму, так передовые стараются вознать в другую. Разница между реакцией и прогрессом нередко состоит только в различном устройстве казематов, для нас приготавливаемых*. Полезно иметь перед собою *откровенных реакционеров* (как и прогрессистов), которые *прямо открывают свою душу*. Они помогают нам не попасть ни в ту, ни в другую западню» (Л. Тихомиров. «Существует ли свобода?» «Русское Обозрение», 1894. апрель, стр. 910). Очевидно, *идея фикс* полуотворенной двери мешает видеть г. Л. Тихомирову еще что-нибудь, а между тем в природе есть море, небо, звезды, и вообще множество вещей, перед которыми его дверь — лишь исчезающий момент.

<sup>3</sup> Т. е. нашей, как единственно (по полноте не разрушенной в ней истины) сохраняющей веру в себя.

сколько не дорогим.

## VI

Так мало поняв предмет, к которому относится моя статья, г. Л. Тихомиров не понял и ее внутреннего смысла, и оснований. Как и другой мой критик, его антагонист, но против меня союзник, он не остановился вовсе на моменте веры, который я указываю, и, думая формулировать мою мысль, говорит: «Существует г. Розанов, существую я, существует Соловьёв; каждый из нас представляет некоторый процесс, совершающийся (физиологически?) по необходимым законам; он для себя требует свободы, г. *Соловьёв будет требовать того же для себя*»<sup>1</sup>, и пр.; но какая же свобода для г. Вл. Соловьёва, в котором духовно нет ничего принудительного, и сегодня он западник, вчера славянофил, можем ли мы быть внимательны к тому, чем он захочет быть завтра? Какая свобода для общества нашего, которое может всем быть, но с условием — не долго и не скучая? И вообще человеку без творческого родника бьющих в нем сил какая свобода, зачем? Такая же, как для несущегося по ветру песка — свобода вырасти в дерево. Ведь я же говорю, что свобода следует за верою, как тень следует за предметом, которого она есть тень; с нею связана, от нее не отделима; и что за странная фантазия у моих критиков — пустить гулять по свету эти им милые тени, без всяких предметов, к которым они относились бы. Поэтому не «кто кого съест — тот и прав»<sup>2</sup>, проповедую я, не борьбу; но только над слабоверием и неверием победу веры, и ею устройство людей так, чтобы желание самой борьбы, как меньшего и низшего перед гармонией, исчезло. Если я требую чего, имею права требовать, то — гармонизации в истории звуков, этого хочу моею природой не бессмысленной и требую как человек. «Свобода для *себя*, и ограничение для всего прочего», — резюмирует меня г. Вл. Соловьёв и с ним соглашается<sup>3</sup> г. Л. Тихомиров: *моей вере — свобода*, и если я маловерен и слабоверен — во всем, в чем сомневаюсь, так же мало свобода и для меня, как для кого-нибудь, как для бездомного, бедного животного, которое, в какую бы его избу ни загнали, уже обязано ее хозяину. Мой

---

<sup>1</sup> «Русское Обозрение», апрель 1894 г., стр. 903.

<sup>2</sup> «Что же получается, как общий *modus vivendi*, как закон жизни? Борьба. Кто кого съест, тот и прав. Такова мысль г. Розанова, если ее изложить в кратких и точных словах» (Л. Тихомиров, там же).

<sup>3</sup> Та же страница.

критик видит в словах моих непонимание личности<sup>1</sup>, жажду «реакционно» задавить ее свободу; но неужели, неужели когда я говорю личности: сотвори и в творчестве этом своем будь свободна, поверуй и в веру своей ты свята и неприкосновенна — неужели я менее понимаю личность, чту ее и к ней привязываю святую свободу, для меня святую, чем г. Тихомиров или г. Соловьёв, и весь сонм их, которые толкуют слова, не понимая их смысла, пытаются поднять что-то и не умеют, или, как «реакционеры», которые, быть может, и в самом деле думают задавить что-то, но, конечно, никогда ничего не задавят, и только раздавятся сами. В бессмысленное я только ввожу мысль; человека чту не как совокупность ног, рук, праздной головы; этой голове говоря: «подумай», и этим ногам: «перестань ходить в блудилище» — я понимаю личность, они же видят в ней, в людях, в истории только кучи песку, бессмысленно туда и сюда передвигаемого ветром.

## VII

Высокая отчетливость мысли г. Л. Тихомирова, быть может, и зависит оттого, что в нем нет и ему непонятно все сколько-нибудь мистическое и священное в человеке; что простота механических воззрений одна ему известна; что значит живой росток в человеке и каковы его законы — это для него темная могила; он говорит<sup>2</sup>: «Итак, каждый из нас представляет собою некоторый процесс, совершающийся по необходимым законам — воззрение не новое, и, высказывая его, г. Розанов до самой макушки остается погружен в наследство прошлого<sup>3</sup>...

---

<sup>1</sup> Это есть центральное возражение, которое делает мне г. Л. Тихомиров: «Ясно только одно, что г. Розанов совершенно упраздняет понятие о *человеческой личности*, как *существе*, отличном от механической и органической природы», и т. д. (там же, стр. 906). Ниже мы будем разбирать это место, но во всяком случае это очень умно, очень содержательно, и в трех строчках здесь более выражено мысли, чем сколько на 13 страницах сумел высказать ее г. Вл. Соловьёв. Мне только приходится безмерно сожалеть, зачем г. Тихомиров так мало понял точный смысл моих утверждений.

<sup>2</sup> Возражая на мои слова: «Есть некоторый внутренний процесс, цельный, неразвитый, по необходимым законам совершающийся (г. Тихомиров отмечает его курсивом), принадлежностью которого только и может быть свобода».

<sup>3</sup> Т. е. материалистические воззрения 60-х годов, от которых я хотел будто бы и не умел отказаться, как объясняет он несколькими строками выше («Русское Обозрение», апрель, стр. 900: «Старое наследство, старые напластования русской образованной мысли наполняют все рассуждения г. Розанова. Он только делает реакционные выводы из того же строя понятий, который для других служит основой либеральных выводов»). Это центральное объяснение, какое он делает в статье своей для объяснения *происхождения* моих утверждений. Есть что-то неприятно элементарное в грубой ошибке, в какую он здесь впадает.

Собственно, он никакой свободы не имеет, он *совершается по необходимым законам*; он растет, как трава, сам не зная, зачем и почему, потому что его заставляют расти и цвести *необходимые законы*. В былое время<sup>1</sup> это воззрение считалось последним словом науки. Из него-то г. Розанов и делает свои отрицательные<sup>2</sup> выводы. Это логично, но приводит его к совершенно звериным понятиям... Закон его<sup>3</sup> есть собственно не закон жизни животной, как это утверждает г. Вл. Соловьёв, но *закон жизни органической*. В частности, выводы его, конечно, звериные; но происходит это оттого, что он не видит в человеке ничего, кроме действия сил органической природы... В понимании жизни он чересчур простодушно, с буквальной точностью, основывается на материалистических *последних словах науки*... Его статья — искреннее раскрытие странного внутреннего содержания... Для этого своеобразного дарвиниста люди столь же чужды друг другу, как растение и ветер, и также не могут понять друг друга<sup>4</sup> «Он совершенно упраздняет понятие о человеческой личности, как *существо*, отличном от механической и органической природы. Он, во всяком случае, *не выделяет* человека из явлений остальной природы, считает его только процессом, совершающимся по необходимым законам, т. е. без воли, без свободы, без способности, так сказать, *творческой, починной*»<sup>5</sup>.

О, беднота непонимания... Но в сочетании звуков, гением задуманных, и которым мы внимаем, не хотя в них никакой перемены, чувствуя невозможность этой перемены — нет разве этой высшей необходимости? и из того, что ни один смычок не смеет отступить от указанного ему, дрогнуть не там, где нужно, не дрогнуть там, где нужно — разве мы заключим, что перед нами сидит оркестр обезьян? Необходимость и произвольность — это закон роста растения, но и также закон всего высшего одухотворенного<sup>6</sup>, и как о том мы несомненно знаем, что он определен Богом, так об этом должны заключить, что не

---

<sup>1</sup> Делается ссылка опять на 60-е года.

<sup>2</sup> Т. е. относительно свободы.

<sup>3</sup> Т. е., что всякое исполненное в себя веры существо не может заглянуть в закон чужой жизни.

<sup>4</sup> «Русск. Обозрение», апрель, стр. 902-905.

<sup>5</sup> Там же, стр. 906.

<sup>6</sup> Чуткие греки до того это понимали, что не только поэзию, но и все виды им известного знания относили не к произвольной деятельности поэта и вообще какого-либо человека, но думали, были уверены, что и поэзия, и творческая мысль *внушаемы* человеку (музы); и в гораздо более позднее время, чем когда они сложили этот миф, Сократ утверждал, что все его лучшие мысли и важнейшие решения внушены были «добрым демоном» (δαίμονιον — божество собственно, но в христианском мире, как языческое, получило значение отрицательное).

человеку, по-видимому, свободно его совершающему, он принадлежит, но этому же Богу. И вот почему человек так мало может выйти из этой необходимости; почему Бруно всходил на костер: апостолы проповедывали на не изученных ими языках; и в наши дни почти, развратный мальчишка<sup>1</sup> становился первым человеком своего времени и к голосу его прислушивалась Европа; и много, много столь удивительных явлений в истории, где мы ничего не поймем, приняв человеческую душу за крутимый ветром песок, и все в ней станет нам понятно, если мы различим в ней перст Божий. Укажут на отрицательность многих явлений, их, очевидно, дурной смысл при явной внутренней необходимости: но что же, мы разве исключим наказание? А если мы признаем его, понятен нам станет бросаемый в нас камень, как и подаваемый хлеб; и град, выбивающий ниву, мы поймем — оттуда же, откуда и благодатный дождь. Злое в истории, преступное, как наглый смех Вольтера, болезненный пафос Руссо — этот камень разве падал не на зараженную ниву? Ей не нужно более быть, время терпения истощилось — и злые жнецы покосили злое. И нет нивы, убранны и жнецы — земля опять свободна для благодатного семени.

## VIII

Если мы обратим внимание на соотношение этой необходимости с свободой, мы и увидим, что то одно свободно снаружи, что столь необходимо изнутри<sup>2</sup>. Что может быть необходимее того, что испы-

---

<sup>1</sup> Руссо.

<sup>2</sup> Мысль эта впервые была высказана мною в заключительной главе уже цитированного выше сочинения, как общий взгляд на характер теоретической деятельности человека: «Наука как понимание есть процесс *свободно-необходимый* по своей природе и происхождению. Но если мы рассмотрим эти два свойства его в их взаимном отношении, то увидим, что они *связаны между собою причинною связью*: понимание есть процесс *свободный*, потому что оно есть процесс *необходимый*, и чем *полнее эта необходимость, тем полнее эта свобода*. Но необходимость науки, как развивающегося процесса понимания, безусловна и всесовершенна; потому что этот процесс восходит, как к своей причине, только к одному строению разума, и раз это строение существует, существует и он: наука дана в разуме, как следствие дано в причине. А поэтому и свобода ее от всего лежащего вне разума, безусловна и всесовершенна: она ни к чему не имеет отношения в жизни (*т. е. принудительного для нее*), ни с чем не связана причинною связью (*т. е. иначе, как побочною*), а поэтому ни от чего не зависима... Будучи процессом *внутренне необходимым, понимание по отношению к создающему его* (*т. е. человеку*) *есть деятельность непроизвольная*. Непроизвольно же совершаемое человеком не может подлежать осуждению. И поэтому наука, будучи свободна от явлений жизни, свободна и от суда человеческого. В этой непроизвольной деятельности человек выполняет не свое желание, но требование того, что есть первоначального в его природе. Строение же этой первоначальной природы определено не им самим, но создавшим эту природу. И по-

тывает высокий поэт в моменты творчества: написанное он марает, всяким исходящим звуком недоволен и ищет какого-то одного, и когда его отгадывает — какая светлая радость ложится на его душу! Или Кант, создавая «Критику чистого разума» — разве был так свободен, как профессор, приступающий к теме диссертации и совершенно не знающий, что там написать? О, конечно, *этом* с такою свободой пишет всякий вздор, с какой летит ворона или санкюлоты раскупоривали бутылки в королевских погребках; и нет этой свободы для *творческой* души, есть — необходимость и с нею иная святая свобода, с которою за веру, за мысль, за тоску своего сердца люди веков минувших, все и равно Богом посланные люди, не останавливались перед костром и там были радостны, не страшились тюрьмы и там были светлы, и куда бы и когда их ни гнали — всюду были со своим сокровищем и его не утратили.

Но вот, люди праздные, которым нечего уронить из рук, требуют: «Дайте нам эту же свободу». На что? За какую веру? Для какого по-

---

этому, стремясь к пониманию, человек выполняет не свою волю, но повинуется воле создавшего его. И следовательно все, стесняющее процесс понимания, есть возмущение против Творца человеческой природы... И так как это стремление предустановлено для человека в его природе, и повинуюсь ему он выполняет свое назначение на земле, то все, препятствующее этому пониманию, отклоняет его от его назначения. И поэтому как тот, кто сам в себе почему-либо подавляет этот дух исследования и изыскания, так равно и тот, кто в другом подавляет его, мешая проявлению этого духа разума, одинаково стремятся отклонить человека от его назначения и восстают против того, кто указал ему это назначение. Но всякая воля и сила имеют только две опоры: волю человека и волю создавшего его. А так как в стремлении к пониманию человек проявляет и свою волю, и волю Творца своей природы,- у последнего же не может быть двух противоположных желаний, но только одно, несомненно проявившееся в создании одинаковой природы всем людям, то очевидно, что человеческое понимание опирается на обе опоры, стесняющее же его не имеет ни которой из них. Это значит, что в природе вообще не существует силы и права, могущего стеснить разум и науку; и самая попытка к этому есть возмущение против человека, природы и Того, Кто создал все» ит. д. (См.: «О понимании; опыт исследования природы, грани и внутреннего строения науки как цельного знания». М., 1886 г., стр. 716–717). И позднее, в «Месте христианства в истории» (М., 1890 г.) повторено: «Как можем мы отрицать, что в бессмертной мысли человека, стремящейся обнять собою мироздание, проникнуть во все глубины его, проявляется то же самое дыхание Божества, которое сказывается в нас, когда в минуты горя или безнадежности мы обращаемся к молитве. Стремиться подавить в себе эту мысль, думать, что ее пылкость может быть угодна Богу – это значит отвращаться от Божества, в своей бессмертной душе убивать его дыхание. Воля Творца нашей души несомненно выражена для нас в самом строе этой души, и если в нее вложено эту Волею стремление к познанию, мы можем только осуществлять ее, познавая мы повинемся Богу», и т. д., стр. 38–39. Я не вправе ожидать, и еще менее требовать внимания к своим трудам, и, однако, ранее, чем называть «Иуда», «животное», «готтентот» (Вл. Соловьёв), «зверь» (Л. Тихомиров) – нужно, по крайней мере, всмотреться в лицо, к которому относишь эти слова.

двига? Нет внимания к вашему желанию еще и еще «раскупоривать», еще и еще «лететь»; останьтесь здесь — вы и там не нужны; возьмите плуг в руки — вино не для вас заготовлено. *Та* свобода приходит к кому нужно, и он ее знает, во имя ее поступает; то, что вы называете этим именем, было только плод недоразумения, смешение разнородных вещей, которые, наконец, должны быть разделены.

Мне больно, однако, если бы кто-нибудь так понял мою мысль, что свобода — лишь тем, великим, на которых сияло солнце истории: самое бедное и узкое в своей мысли существо может быть также исполнено совершенной веры, и в меру его веры ему принадлежит совершенная свобода. Тем принадлежит творчество художества, мысли, — этим творчество самой жизни, не меньшее. Все живет, все движется — верою, и тем выше она знания, тем выше и гения, что доступная равно всем, — всех животворит и освещает. В бедном храме молящиеся не ниже всходивших на костер за науку; те и другие равно братья; обоим ukazаны были одинаково предметы для веры, и как те умерли, эти не отказались бы умереть за свое особенное утверждение; и в нем они не прикосновенны.

## IX

Как, однако, неверующего отделить от верующего? Через страдание, которое сгонит улыбку с лукавых уст, обратит в бегство крадущихся к непринадлежащему им сокровищу и одних верных при нем оставит. Предвидением высшим, чем наш бедный ум, от этого бедного ума скрыто окончательное; и, кажется, самое познание его не так важно, или, по крайней мере, оно приготовлено не для человека. Нам дано только сердце, чтобы возлюбить — то, что поставлено в данный переходящий момент как предмет веры; и то, что мы «истиною» своею называем, не столько в самом деле истина, как в образе ее нам явленное, чтобы испытать наше сердце для какой-то другой истины, которая ему в награду — не теперь, но когда-нибудь — будет дана. Итак, потерять для иного сердце свое, и за то, что его держит, быть готовым пострадать даже до остатка жизни — закон человека в истории, один непоколебимый. Вера одна в человеке оценится, когда знание окажется ложно, воля — заблудившейся; и из потемок, из неведения — в награду за веру пребывавший в ней введен будет в свет. Богу принадлежит завершить концы; мы же, не предугадывая их, должны бороться каждый за истину своего утверждения. И то утверждение, которое до конца сохранит себе верных, всего сильнее и глубже привяжет к себе человека — это утверждение есть вместе и Божие; ибо ведь по образу Божию сотворен



человек и влечется наиболее, темными для него путями, он именно к Божественному. То же, что побеждено будет, своею не божественною природою влекло к себе низшее в человеке, и, получив за веру в него некоторую награду, они все-таки не удостоятся той, какую получают последние верные. И в отрицательных процессах истории есть внутренняя необходимость, как в падающем граде — сила тяготения; и выражающие их в себе проходят перед нами как гении, однако — меркнувшие в веках, без вечного в себе света. Есть среди всех борющихся нить этого света, и она никогда не прерывалась; каждый в утверждении своем думает ее уловлять; уловил ли — знает Бог, человеку дано только уловленное не упускать. Без него — он ничто; только пыль, тончимая ногами верных, вздымающаяся, ложащаяся, отлетающая или здесь остающаяся — нет вопроса.

## Х

Итак, для безверных закон покорности, для верующих — борьбы. И почему, почему если уж драгоценная кровь человеческая проливается, — не за то, что истинно дорого человеку, чем он живет, проливаться ей, но и вечно как теперь — за кипы непроданного хлопка, оскорбленное самолюбие монархов, «престиж власти», «сферу влияния», и за тысячу иных не нужных никому вещей, кроме одной только, которая каждому истинно нужна? За целость фабрики, где задыхаюсь я и мои дети, позволительно, чтобы умер я, и — не умер за ветхую церковь, где я и они крещены, где мы отдыхали редкие минуты и никогда ничем не были оскорблены? «Век борьбы за веру окончился», — решили мудрые, и вот, в пустой от веры груди выросло волчье сердце, а Бог отрастил к нему и волчьи зубы, чтобы люди терзали друг друга, как никогда не умели, не могли, не решились бы<sup>1</sup> при вере. Как глубоко отвечает атеизму нашему, жестокосердию, безверию эта война, ставшая наукою, эта методичность и холод истребления, и то, что *я, он*, всякий — умираем, но уже не за то, что любим, но что презираем, чем мучимы, что нена-

---

<sup>1</sup> Не поразительно ли в истории это совпадение всякий раз успехов атеизма с успехами в изобретении орудий истребления, заметное и всегда, но в наше время столь мучущееся в глаза. Связывающим моментом здесь является то, что, с исчезновением предметов для внутренней деятельности, человек ищет предметов для внешней; не имеющий необходимости побеждать себя — ищет победить других и изобретает *как*. В частности, к случайному наблюдению Бартольда Шварца (которому почему бы и не забыться? Не примениться к благу?) нужно было, чтобы присоединилось злое движение мысли: «Нельзя ли, чтобы как этот взорванный камень взлетел — но не он уже, а человек». И кто так подумал — порох и *изобрел*.

видим — умираем как скованные рабы в цирках Рима, так же невольно и бессмысленно, и для того же, в последнем анализе, как и они тогда. Разве христиане осмелились бы делать изобретения, на какие решаются бывшие христиане? Так готовиться к истреблению? Так всею мыслью своею, всем ведением, желанием приникнуть к этому? Конечно, этот камень, давящий нас, тяжел, как могильный — и, однако, на мертвое уже сердце давит он, которому и не нужно ничего иного, ничего лучшего он не заслужил...

Итак, борьба, высшим неведением обусловленная, двух встретившихся вер, одна и выносима для человека, и определена волею, скрывшею от нас концы, — без сомнения, за высшую неискоренимую греховность нашу; определена, как и болезнь, и смерть — все, от чего отвращается человек и что для него неотвратимо. Но как в болезни человек просветляется душою, как при виде смерти смиряется смертный, и в этой борьбе, но уже не кощунственной, не наглой, для наглых интересов начинаемой, — животная сторона в нас покоряется идеальной и мужество требуется, по крайней мере, не рубашкою, которая вчера сделана, завтра износится, но уже сегодня износился я, ее сделавший. Жертвовать может человек только за великое; это великое для него — вера; итак, в формах тех ли, какие есть, или, за их бесчеловечием, в иных, он может и будет бороться только за предметы веры, — те, какие ему указаны будут Богом, пройдут перед лицом его в истории, быть может, и обманчиво маня его, но обманчиво лишь в меру его испорченности, и всегда истинно его притягивая в меру правоты его сердца.

## XI

Но вот, поправляя складки на плащах своих и красивее надвигая шляпы, маркизы Позы и Гамлеты нашего времени спрашивают: «Неужели и нас тронет эта грубая борьба?». Нет и нет, если вы безверны — вас тронет только плуг, в который вас впрягут; но если в вас есть вера — что же, чернилами из ваших чернилниц вы только хотели бы пожертвовать ради ее? Всемирные судьи, не умеющие камня сдвинуть с камнем, которым так жалка работа мозолистых рук, месящих известь, тёшущих бревна — что же, за гладкий слог свой вы хотите быть пощажены, когда не щадятся другие и вы этого не требуете? Снимите абажуры с ваших ламп, перестаньте видеть только белое пятно под ними, которое вы унижаете словами и словами. Взгляните, как трудно жить для всех, и почувствуйте ответственность. Почувствуйте ответственность уже за то, что вы бессильны. Бог вам не дал заме-

шаться в эту загрязненную толпу и разделить ее труд. Ему помочь смыслом, его согреть словом утешения — все, что вы можете; на большее — не дерзайте, противоположного страшитесь.

Или, если весь труд этот вам кажется бессмысленным, если в самом деле неодолимо природою вы от него отвращаетесь — конечно, впадая в ложь перед собою и не исполняя указанного вам Богом, вы не запоете же ему дифирамбы. В вас вера иная, чем в тех, кто созидает; в этой вере вы свободны — ее выразить, ее утвердить; и если пути вашей веры и строящих сталкиваются, в борьбе, которая неминуема, всегда в истории наступала в такие моменты, всегда будет наступать — обнаружьте крепость своей веры в готовности к страданию. Нет иного способа различить вас от безверных; не внимать слову вашему, значить, не внимать и никакому; внимать — значит внимать всякому. Ни этого, ни того не могут строящие, — они сами помнят за собою слова, которым не могут, не должны изменить. Итак — Бог решит, нива ли к потреблению обреченная перед вами, и вы — имеющее на ее место лечь новое семя; или же нива здорова и должен быть истреблен червь, на нее напавший.

## ХII

Конечно, было бы приятнее для человека, если бы и червь точил колос, и колос оставался цел; если бы жизнь была аудиторией, и история — чередующимися часами разнообразных в ней чтений. Какая борьба, когда звуки не встречаются, и не только в воздухе, но и в душе, которая что слышала вчера — сегодня забыла, и к завтраму забудет то, что слышала сегодня. Наивные, однако, чтецы, или, быть может, они оплачены, — и тогда вынуждены, конечно, читать; но какой же наивный хозяин аудитории оплатил их, когда единственное, чего хотят истинно его гости — это заснуть; и есть род вечного сна — он называется смертью, и как сон, как бодрствование, этот род также во власти хозяина. Быть может, этого просят гости, об этом томление минуты?..

По крайней мере — не у всех: есть незабываемые звуки для некоторых, есть некоторые, забывающие их; и, раз воспринятое ухом, в них растет только по закону воспринятого, не мешая его с законами иного. Нет осуждения этим иным законам, есть их неведение; и неведение даже тогда, когда звуки извне встретились и хотели бы разделить внимание одной души. По одному закону строится всякая душа, истинная и глубокая; как по одному ключу настраивается инструмент. И закон разломанной балалайки, с повисшими струнами — ей не указание, для нее не принцип. Таких может быть очень много, и может быть

печальная минута, когда инструменты гораздо более сложные, предназначенные устройством своим к лучшему, как будто вторят этим же балалайкам, или, по крайней мере, не издают сколько-нибудь сносных звуков; не в числе их дело, но только в законе, что самый принцип инструмента — всякого, и даже балалайки — состоит именно в гармонии: в том, что звуки подчинены одному ключу, по нему текут, из-под него не умеют выйти. И если в мире грубом, в царстве звуков мы смешения, хаоса не выносим, — не должны ли мы быть гораздо более чутки к миру дел, в царстве руководящих человеком мыслей? И хаоса, смешения, несносного там — еще менее выносить здесь? Все простится человеку, кроме лжи; лжи же отрицание есть вера: ибо кто по вере поступает — не лжет, кто против своей веры или без всякой — впадает в ложь. Итак, то, что для звуков есть гармония — для дел и мыслей человеческих, сплетающих собою историю, есть вера. К ее принципу должны быть возведены дела и мысли; только к принципу веры, без определения — которой.

### ХІІІ

Сколько бы ни пытались противники этого творческого, устрояющего хаос принципа, его отвергнуть — они не в силах этого сделать; и чем их попытка страстнее, тем в ней самой обнаруживается ярче его присутствие. Мы возвращаемся к последним возражениям, которые против него делает г. Л. Тихомиров; он говорит: «Мысль, будто никакой субъект<sup>1</sup> не может войти смыслом в закон жизни другого существа, есть очевидная и самая ничтожная неправда. Разумеется, я не могу войти в закон жизни какого-нибудь ветра или химического процесса: это для меня только явления, а не личности, и я их могу понимать лишь со стороны внешних условий их совершения. Но войти в душу, в смысл всякого человеческого существа — каждый из нас, людей, может совершенно свободно и легко. Единомысленность<sup>2</sup> тут совершенно не

---

<sup>1</sup> То есть высказал я в «Свободе и вере» — насколько он есть носитель исполненного веры утверждения («Русский Вестник», стр. 269), «насколько оно верит и хочет жить» (ib., стр. 271).

<sup>2</sup> Из слов моих «для всякого существа — один закон, и нельзя, не утратив *тождества с собою*, ему слиться в мысли, в желании с законом противоположным своему или *разнородным* с ним: *противуестественно было бы мудрому войти в законы глупого, в правила нелепого*» («Свобода и вера», стр. 271) — из этих слов мой оппонент мог бы видеть, что вовсе не сходство в мыслях я разумел в статье своей, но общность, однородность в целом психическом строе, в законе бытия душевного, в неразорванной на элементы природе. Как увидим тотчас, в ниже отмеченных словах приводимой цитаты, г. Л. Тихомиров с

при чем. Когда<sup>1</sup> человек способен понимать и якобы любить только единомышленника, человека своего дела, своего кружка или партии, то это только означает, что он человечески очень не развит и, в сущности, никакого человека не понимает и не любит. Он не человека понимает, не личность, не их любит, а известную службу, известную деятельность их. Это та же любовь, какую мельник любит хороший ветер<sup>2</sup>. Человеческое же понимание и любовь относятся вовсе не к мысли, а к личности<sup>3</sup>. Я гораздо более восхищаюсь умным, тонко развитым противником, нежели единомыслящей мне тупицей. Когда я вижу человека «чужого», но доброго, благородного, то он мне, конечно, более нравится, нежели единомыслящий мне, но дрянной человек» («Русское Обозрение», апрель, стр. 907).

Вот слова, которых я ждал, и уверен в разных вариациях услышать их от каждого как невольное признание указанного мною принципа. Ведь я же готов согласиться и даже признаю как простой факт (основываясь на литературной деятельности), что критик мой и умен, и не лишен доброты, идеализма, стремлений к лучшему. В *этом* именно, как в *законе* своей личности, он и сливается со всяким человеком, когда даже расходится с ним, напр., в *миросозерцании*, которое, быть может, ему случалось изменять, и, следовательно, оно образует как бы *краевые* очертания его духовного существа и вовсе *не* его *центр*. И когда центр у иного человека разнороден с его, когда он встречает «тупицу», «дрянного человека», — и не тупой, и не дрянной сам, он с ним не взаимодействует, его не понимает, не любит, но сожалеет с тою поверхностью и сухостью как почти «мельник об ему ненужном ветре». Объясняя и развивая свою мысль, и все пытаюсь опровергнуть мою, г. Тихомиров переходит на примеры «художественного творчества», указывает на

---

горячностью утверждает, что при подобной разнородности, конечно, невозможно понимать друг друга.

<sup>1</sup> Отсюда и до рассуждения о личности г. Л. Тихомиров возражает своему предположению, которого я не высказывал и оно, очевидно ложно.

<sup>2</sup> Все это рассуждение есть типичное для г. Л. Тихомирова: необыкновенная отчетливость формулирования, прозрачная ясность языка, и даже ценность мысли абстрактно взятой — при полном непонимании сути *разбираемой* мысли. Можно сказать, что продукты духовного творчества другого человека и вообще, кажется, явления жизни и истории — он рассматривает (выражаясь иносказательно) как минералог и никогда как ботаник. Начало *жизни* в высшей степени чуждо и непонятно ему, и этот недостаток душевного проникновения даже отражается на достоинствах и недостатках его языка, столь прозрачного и как-то точно стучащего словами, — точно между ними недостает чего-то эфирного, живого, что, как сон, по трубкам растения бежало бы, струилось в них всех и их одушевляло бы и связывало.

<sup>3</sup> Против его взгляда на мое отношение к личности я возразил выше, в тексте этой статьи — и нет нужды возвращаться к этому здесь.

«полноту проникания» в смысл чужой жизни, какое мы наблюдаем у «великих поэтов» и их *критиков*, без сомнения? Пусть, в качестве последнего, мой противник попытался бы слиться смыслом своего бытия, с смыслом бытия, например, Паншина в романе «Дворянское гнездо», или Пандалевского и матери Натальи — в «Рудине», наконец, и это еще ярче, с Лужиным в «Преступлении и наказании», с Репетиловым, Скалозубом, Молчалиным в «Горе от ума», — сделал бы усилие полюбить их, понять, оценить смысл и своеобразную правду каждого. И между тем эта правда в каждом из них есть; каждый из них нечто утверждает, и что это так, видно из того, как мало они понимают Раскольникова, Чацкого, Рудина, Лизу. Но *мы* в *их* правду не проникаем, ее не хотим, ее отвергаем, и так глубоко, что нас возмущает самая мысль о «какой-то их правде», о самом ее бытии, и мы этих людей признаем, как и создавшие их в вымысле своем художники, не более, действительно, как и «траву или морской прилив»<sup>1</sup>. С тем непониманием оттенков и переливов чужой мысли, какое отличает резко очерченную и небольшую голову г. Л. Тихомирова, он продолжает, как бы стараясь научить меня: «Это именно закон жизни человека, что чем он более становится развит, зрел как человек, чем выше и тоньше его самосознание, *тем он лучше понимает и другого человека* (курсив г. Л. Тихомирова). Одно идет рядом с другим. Это стариннейший *факт*, который подтвердят все мудрецы как древние, так и христианские. Единство человеческой природы и присутствие в ней духовного начала производят то, что чем глубже мы себя осознаем, тем лучше понимаем и других. А из этого понимания рождается отношение к другому человеку, подобное отношению к себе, любовь в различных формах и степенях, жалость к падшему, восхищение идеальным, если оно замечается мною в другом»<sup>2</sup>.

Но ведь если бы в идеалисте он указал мне восхищение низким, в целомудренном — развратным, только тогда он доказал бы *свою* мысль, теперь же, всеми этими примерами, усилиями только подтверждает, развивает и укрепляет мою об абсолютной темноте всякого живого существа к иному живому же, которое в принципе бытия своего, в законе деятельности своей ему противоположно или с ним разнородно. И вот, будучи так слеп к тому, куда его собственная мысль течет, он заключает:

«Мы говорим о *терпимости*, т. е. о допущении чужой свободы, хотя бы ее употребление нас глубоко огорчало и даже возмущало.

---

<sup>1</sup> Сравнение принадлежит г. Л. Тихомирову.

<sup>2</sup> «Русское Обозрение», апрель, стр. 907.

Чувство этой терпимости может быть соблюдаемо каждый день у всех людей<sup>1</sup>, в разных степенях и формах. *И как же иначе?* Ведь начиная сколько-нибудь понимать себя, я очень хорошо вижу, что *я существо свободное*, — не отрицательно свободное, не в том смысле, чтобы я не имел перед собою внешних препятствий, а в том смысле, что я имею *способность свободы*, т. е. самостоятельность; способность быть не последствием, а *причиной*, способность *творческую*»<sup>2</sup>.

Как будто не я именно утвердил неограниченность этой творческой свободы за верою, в меру этой веры и в ее пределах<sup>3</sup>.

«Никакие благоприятные условия не спасут меня, если нет на то моего произволения. Это *произволение* мое, конечно, со всех сторон иным поддерживается, *иным заглушается*, но всегда остается неуничтоженным. То же самое я вижу у других людей. Из каких побуждений, на каких основаниях я могу не принимать во внимание эту их свободу»<sup>4</sup>.

Из того побуждения, безверный, чтобы жила моя вера, на том основании, что ей противоположное мешает ее свободному и яркому выражению, как ветер, ломающий ветви дерева — его спокойному росту, светильнику светящему — его затеняющий предмет. И если свет этот живой, он удаляет свое препятствие; если бы дерево было осмыслено, мощно, оно от границ своего утверждения, своей жизни удалило бы всякое утверждение, его собственному противоположное. И всякое творческое существо с путей своего творчества, своей веры, своей свободы удаляет как хаос то, что в смысле творчества с ним не совпадает, в путях этого творчества — встречается.

«Ведь уничтожить эту свободу я не могу, если бы и захотел»...

Т. е. окончательно ее уничтожить Бог не дает сил тому, кого вера относительна, и в силу этого — не тверда, временна. Как, напр., во всех тех случаях, когда эта вера относится только как разрушительный момент к тому, чему предстоит перестать быть, и с исчезновением чего

---

<sup>1</sup> Конечно, у безверных и слабоверных, у *невозбуждаемых верою*, и нет этого чувства у последних, как мною показано в многочисленных примерах в ст. «Свобода и вера» и здесь.

<sup>2</sup> Там же, стр. 908.

<sup>3</sup> «Вера есть не всегда ясное, чаще смутное отношение человека, да и всякого живого существа, к своему закону и назначению: мудрый потому верит в истину, что в нем предустановлена она и только ожидает его усилия, напряжения в нем мысли, чтобы стать ясною — из предмета веры стать предметом созерцания». Так же и потому же верит и всякий творческий дух; а с верою я соединяю и свободу совершенную. См. «Свобода и вера», главы III и IV.

<sup>4</sup> Там же, стр.908.

она сама ослабевает, гибнет, и вместе с тем перестает связывать собою что-либо.

«Во-вторых, зачем я буду стараться эту свободу подавить, когда в ней самый центр личности человека?»...

Т. е. при *вере*, которая и есть *центр* личности человеческой, ее сияние перед Богом, перед людьми, в истории — своим утверждением. Без веры же какая личность? Без утверждения какой человек есть вместе и лицо? Или но крайней мере, что это лицо выражает? Не то ли же, что куча передвигаемого ветром песку, которая принимает все фигуры и никакой по необходимости.

«На что мне может быть нужен человек без этой способности?»...

Ни мне, ни Богу, ни истории, и именно, как ничему не нужный, без веры и лица он не нуждается и в свободе; всеми утверждениями он отрицается, и как в век безверный находит всюду свободу своему движению, в век веры не нашел бы ее нигде.

«Он тогда перестает быть человеком, становится *процессом* г-на Розанова»...

Именно *перестает* быть процессом. Все недоразумение г-на Л. Тихомирова, его попытка оспорить мою мысль вытекает из непонимания им живых, творческих процессов, которые он принимает как хаотические, неопределенно-свободные, по капризу начинаемые и останавливаемые, я же в них вижу высшую закономерность и необходимость, с тем вместе вижу в них выражение лица человеческого, и им одним считаю естественно принадлежащую свободу.

«Мне может не нравиться направление его свободы; я могу употреблять все усилия направить его свободу в другую сторону; от иных проявлений его свободы я могу, наконец, защищаться. Но при всех этих условиях я не могу отрицать его свободы, как факта, не могу не любить его свободы, не могу, наконец, не понимать, что только свободно он может сойтись со мной, что, стало быть, его свобода нужна мне даже в целях единства с ним»<sup>1</sup>...

И так далее, развивает он образы истории как обширной аудитории, где не без пафоса люди различных природных задатков и разного жизненного назначения говорят с некоторою болью друг о друге и всегда, однако, с совершенным уважением; но *где же* и *когда* начнется в ней деятельность, а ведь жизнь — не теория, не ряд страниц, покойно лежащих в книге, а именно жизнь, т. е. деятельность, которой все остальное, и теория, и книги, служат лишь пособием. Я не только хочу *быть* и *мыслить*, но и чтобы отражением моего лица служили все лица,

---

<sup>1</sup> Там же, стр. 909.



моею любовью горели все сердца, — не как *моею* любовью, но как *истинною*, не как мне принадлежащего лица, но как такого, которое вечно должно жить, которому Бог указал жить, и я сам *свое* лицо погасил давно для *этого* и хочу, чтобы погасли и тысячи иных для него же: для моего *утверждения*, не для моих двух рук, двух ног, мало и мне нужного моего туловища. Тот только и начнет, и может, и посмеет начать деятельность, кто исполнен в свое утверждение совершенной веры и с нею не понимает нужды в аудитории иной, чем как ему только внимающей, сердце — для него одного открытых. Кто ищет — еще не имеет, и ему естественно ко всем указаниям прислушиваться; кто нашел, что могут ему сказать чужие звуки? Сколько бы ни звучали они — они не для его уха, не для его внимания; в его душе, полной гармонии, им нет места.

#### XIV

И так во всем в истории; так для всего, и так же для нас было бы в отношении к церкви нашей, если бы мы не были около нее посторонними людьми, «иноплеменными воинами, призванными по чужому делу на долгую, скучную ночь»<sup>1</sup>. Мы возвращаемся вновь к частному вопросу, который вызвал все эти рассуждения: следует ли церкви допустить верующим в нее отступление от цельности христианской жизни? Следует ли стране, входящей<sup>2</sup> в состав церкви Восточной католической, допустить пропаганду в своих пределах католичества и протестантства? Конечно — нет; и не только пропаганды, но и очень беззастенчивого выражения своего особого утверждения, какой-либо яркости, сияния на солнце, которое над нивою, Богом взращенною, Богом сохраненною должно сиять только для этой нивы.

Что за непонимание истории требовать противного? Что за усилие, чтобы церковь наша, выражая некоторое утверждение, вошла и в смысл того, чего жизнь и сущность есть только отрицание этого утверждения. Если бы православие отпало от католичества, выделилось из него как ветвь, — возможно было бы ей, умирая в истории, возвратиться в единичных своих членах, верующих, к древнему стволу, к ветхому корню их всех и ранее питавшему. Но что значит для православных стать католиками? Какой смысл присоединиться церковно к Западу? Не иной, как чтобы повторять за другими «нет, нет», в то же время угасив в

---

<sup>1</sup> «Свобода и вера», стр. 279.

<sup>2</sup> Т. е. внешним образом, как кожа на каком-либо члене тела все-таки входит в состав и организм этого тела и по его законам растет, существует, для его нужд функционирует.

себе всякое «да», к которому это «нет» могло бы относиться. Истина, на семи Вселенских соборах установленная, оказалась недостаточной для слабоверного Запада: они ее дополнили<sup>1</sup>; слова Спасителя — неточными: они их переделали<sup>2</sup>, запретили их произносить вслух верующих<sup>3</sup>. Что делать нам: они усумнились, мы не сомневаемся; если с ними усумнимся и мы, *в чем же* усумнимся, наконец, в каком предмете веры? Не остается никакого, не остается его для самого католичества, которое в точном историческом смысле есть только мятеж против православия, и с его исчезновением должно пропасть, как шум удара ветра в дверь, когда нет более двери. И вот почему перед шумящим ветром она не должна раствориться; не для того она, для чего он; есть сокровище у ней свое особенное, и к нему прикинувшись, его охраняя она до остального не имеет дела, к его усилиям — глуха, к его страданию, нужде — слепа, на его вопросы — нема.

## XV

Отрицанием отрицания, однако не впадшим в какой-нибудь положительный смысл, является и вторая форма религиозного сознания на Западе — протестантизм. Когда начиналась Реформация, никто ее не хотел: ни император, один из самых могущественнейших и мудрых; ни папа, один из самых уступчивых, «терпимых», ни сколько-нибудь влиятельные слои общества<sup>4</sup>, ни, наконец, сам Лютер — и она, однако, совершилась. Против расчетов мудрых, против усилий сильных, Бог бросил отколовшуюся церковь под топор грубого монаха; и на три века обрубок, им оставленный от криво выросшего дерева, всеми принимается за юный, зеленеющий, чистый первоначальный его росток. И народы, кажется, ждут, когда же пень зацветет и они сорвут с него плод... Идея лютеранства есть самая бедная в истории; не было мысли, более ее скудной; движения в истории, столь, очевидно, нелепого. Это религия «Unser Vater» боится какой-нибудь еще молитвы; когда нужно помолиться о дожде во время засухи, не находя в Евангелии слова

---

<sup>1</sup> Сначала прибавив к Символу *filioque*, и позднее вымыслив ряд догматов, до непогрешимости *ex cathedra* римского епископа включительно.

<sup>2</sup> «Пийте от нея *вси*», — сказал Спаситель, подавая чашу ученикам своим; «но ведь плоть, тело уже заключает в себе кровь, и она собственно излишня для всех, пусть остается только для клира», — поправили католические богословы.

<sup>3</sup> Неоднократно с высоты престола папского подтверждалось верующим *запрещение* читать Св. Писание.

<sup>4</sup> «Эти монахи своими поднявшимися спорами только мешают мирному развитию наук», — говорили в Германии о подымавшемся реформационном движении гуманисты, и всего желчнее глава их, Эразм.

«дождь», она произносит только «Unser Fater»; когда мать томится над умирающим ребенком, от *себя о нем* помолиться не умеет, не смеет, она может только повторить «Unser Fater»; и мы опасаемся, нет ли неточности в Евангелии и не «Unser» ли «Fater» произносили кающийся мытарь, бивший себя в грудь, разбойник, висевший на кресте, кававшая грешница. Это — религия рабов. И какой же, в самом деле, свободы, сознания безгрешности движения, правоты роста мы можем ожидать в обрубке дерева? Он мертв; мертвы религиозно страны, на которые он налег своим бессмыслием; как искажены в своем развитии те другие, о которых мы сказали, что от церкви они отпали, и с тех пор тысячи отпадений, постоянный прилив антагонизма, борьбы испытывают в себе.

## XVI

«*Пийте от нея вси*», — каждый день мы слышим на литургии слова Спасителя, Его завет людям, — и в этих словах слышим осуждение католицизму; «*Тимофее, сохрани предание*», — читает нам дьячок Апостола — и здесь осужден протестантизм. Анти-Христово, анти-Апостольское — чем мы виноваты, в чем мы грешны, что это только есть на Западе и рвется к нам, чтобы разрушить Апостольское, Христово, что есть у нас, чем мы, во всем прочем нищие, обладаем? Но вот оскопившие себя, нажив тысячи внешних сокровищ, приходят и соблазняют нас этими сокровищами, чтобы мы их уныние, тоску, преступление разделили. Боится грех остаться в мире один; ему нужно соучастие; как и первому отпавшему ангелу, едва Бог сотворил человека, уже потребен был этот человек в общение. Дух неутолимой пропаганды, столь общий враждующим между собою сектам Запады, есть именно последствие их непрямого отношения к оставленной людям истине, или потери к ней всякого отношения. Ибо, обладая истиною, человек уже обращен к ней одной, ее видит, ей радуется, и хотя сорадуется приобщению к себе всякого другого, но не скорбит и один, находя в предмете обладаемом совершенное удовлетворение. И печать истинности несокрушимую мы видим в том, что Восточная католическая церковь ни в какие времена и ни в каких странах не являлась пропагандирующею, — исключая немногих — спорадических явлений, без внутреннего их в себе значения, без силы и успеха. Она насыщена сохраненным союзом своим с Богом — заветом новым, который исполнила; как и древний еврейский народ, совершенно удовлетворенный подобным же союзом, заветом ветхим, не искал никого принудить или вовлечь к себе в общение. Нам укажут на церковь юную, апостольскую, ей приписав «пропаганду»; но там было «евангелие», «благовестив» —

подобное тому, как если бы, получив великую радость и не в силах будучи скрыть ее, я вышел на площадь и вскричал о ней. И это вовсе не то, что с известием темным, мыслью таимой бежать сквозь чащи, леса, пустыни и, отводя в сторону человека от человека, ему внушать эту мысль, передавать эту весть, и нудить его ответить на эту весть «да», и ненавидеть его, когда ответ замедлен, и убивать отвергнувшего эту весть, и бежать снова и снова, далее и далее, чтобы приобщить к себе хоть одного, кого-нибудь, где-нибудь, на смертном одре, в болезни, в тягости, обещая всяких наград, пленяя воображение, маня сердце, запугивая совесть, или, наконец, «сокрушая ребра». Конечно, этот темный, мрачный дух известительства не имеет ничего общего с апостольским «благовестием» и кто не узнает, где он был и кем несется теперь в Китай, Японию, Индию, и ярче, чем туда, настойчивее, чем туда — к нам на Восток, в страны нетронутого православия, всюду отрекаясь от чистоты какого-либо утверждения<sup>1</sup>, принося жертвы в языческих храмах

---

<sup>1</sup> Миссионеры иезуитского ордена, осмотревшись в Индии, решили, что они всего успешнее могут повести им нужную пропаганду, приняв на себя вид браминов. Также строго, как последние, они отделили себя от презираемой касты *париев* и, во избежание священного осквернения, не входили в их дома, и к ним, даже больным, не прикасались, а таинство елеосвящения совершая при помощи длинных палочек. Париям были построены особые храмы, а в те, которые были построены для браминов и других «чистых» сословий, их не впускали. Таково было христианство, насажденное там миссионерами знаменитого ордена. Сами католики, не принадлежавшие к ордену, были возмущены, в остатках у себя христианских чувств, этим странным эклектизмом Христова с языческим, и умоляли «пощадить христианство». Но иезуиты неизменно отвечали, что лишь при их системе смещения («унии») пропаганда католицизма может быть успешна, и без нее – все уже достигнутые успехи будут погублены. Эта ссылка вызвала однажды раздраженное замечание знаменитого кардинала Беллярмина: «Христово Евангелие не чуждается ни в подкраске, ни в подделке; пусть лучше брамины не обращаются к истинной вере, лишь бы сами христиане не проповедывали Евангелия неискренно и несвободно. Христос на кресте (т. е. видом рабской смерти) соблазнял иудеев, а эллинам казался безумием, – но ради этого не перестал же боговдохновенный ап. Павел, не перестали и другие апостолы проповедывать свободно и правдиво Христа распятого. Не хочу заводить спора о каждой частности порознь; но не могу не заявить, что подражание гордости браминов, по моему убеждению, прямо противоречит смирению Господа нашего Иисуса Христа, а снисходительное допущение известных языческих обрядов крайне опасно для веры». Но этот отзыв истины в той ветви истории, которая шла к ее забвению, не был услышан. Кардинал Беллярмин не видел, что уже не Христово – есть истина утверждаемая в церкви, которой он был служителем; что эта Христова истина есть только побочная при какой-то другой, которая не мирится, не согласуется, не отступает от своей целостности, идя к иным народам, в другие страны, а она, эта Христова истина около той, мирится, соглашается, отступает от полноты, ясности и твердости своего выражения. Что же это не мирящееся, ненарушимое, истинно утверждаемое там? Идея папства – как условно ненарушимого у народов, которые утратили веру в безусловно в себе самом, в небесных основаниях своих, ненарушимое. Камень тем прочнее лежит на земле, метеор тем неотделимее с нею слит, чем окончательнее порваны узы его с небесным, к которому природою своею и проис-

конфуцианцев<sup>1</sup>, склоняясь перед статуями Будды<sup>2</sup>, признавая греческий обряд<sup>3</sup>, только бы их, преступных и несчастных, народ принял в общение с собою, и по их указанию, их подобию исказили бы себя в одном, им нужном, отношении.

## XVII

И вот она, церковь великая делами и малая верою; и нас манит она не истиною утверждения своего, не крепостью веры, но благами земного устройства, которые она сообщила всем народам и имела бы силу сообщить нашему<sup>4</sup>, всякому. Как обширна история этой церкви, как цветущи ею охваченные страны; не вникайте в слагающие звуки этой истории, прислушайтесь к общему их аккорду: как о многом, как долго здесь рассказано, и «неужели немое молчание»<sup>5</sup>, она спрашивает, «вы предпочтете ожидающим вас рассказам, их величию и поэзии»? Но какая поэзия и даже какой рассказ о толпе поселян, собравшихся в храм молиться, и, однако, разве молитва их от этого дурна? Что сказать о городе, в котором ничего особенного не случилось, и как много можно поведать о том, который разграблен, опустошен, стены его разрушены,

---

хождением он принадлежал когда-то; католицизм действительно есть вечное, окончательное, последнее на земле, насколько Бог за его грехи забыл человека и не захочет поднять его к вере.

<sup>1</sup> В Китае.

<sup>2</sup> В Китае и в Индии иезуиты дошли до того, это от обращаемых туземцев скрывали «зрак раба», принятый на себя Тем, чье имя они носили, и также его страдания и смерть, между разбойниками, на кресте. Людовик Сотело, францисканский монах, впоследствии замученный там, писал папе: «Наслушавшись иезуитских миссионеров и проповедников других орденов, туземцы начинают поднимать нас на смех; они упрекают нас в том, что мы проповедуем *двух богов*: одного богатого и могущественного (каким являлся Христос в изображении иезуитов) и другого бедного и смиренного; *второй*, говорят туземцы, у *первого в глубоком презрении*». Во время одного возмущения против европейцев в Японии, береговые жители всех приставших к берегу чужеземцев заставляли топтать и оплевывать распятие; конечно, все европейцы превратили сношения со страной – но не иезуиты; имея обширные торговые связи здесь, они подчинялись требованию топтать и оплевывать распятие, и позднее оправдывались тем, что они относили при этом мысленно оскорбления не к Богу, изображенному на металле, но к самому веществу металла (*reservatio mentalis*).

<sup>3</sup> Церковная уния для юго-западной Руси, во время ее бытности под владычеством Польши; теперь епископствующий папа Лев XIII благословил славянскую литургию для юго-славян.

<sup>4</sup> Г-н Вл. Соловьёв прямо указывает, что соединение с католичеством, т. е. принятие католического отношения к христианству, дало бы нам «украшение церковной жизни, возвышение власти духовенства, одухотворение гражданской жизни».

<sup>5</sup> Таков смысл жалоб и призывов Чаадаева в известном его «Философическом письме».

воины побиты, жители уведены в рабство и в нем долго, мучительно томилась? Быть рассказанным — это не цель для человека; для него цель — быть правым; и быть рассказанным — значит всегда почти эту правоту потерять, о ней мучиться, ее восстановить. Как обильна в истории фактами Реформация, и между тем она только срубила то, что нужно было срубить; как стучал топор, сколько ветвей падало, и шум, и крики кругом, — и, однако, это хуже, чем когда, не зная топора, дерево растет в тиши, видимое Богом, нужное человеку. О нашей, в частности, истории было сказано<sup>1</sup>, что она беднее событиями, чем всякая плита на Римском форуме — и это ее гордость; православие скудно фактами — это милость к нему Божия; оно не искажалось — как это рассказать? не каюсь, не пыталось восстановить истину утверждения своего — какая тут повесть? оно молилось; молитва его у Бога; что нужно от него людям?

## XVIII

Свое особое утверждение понять глубоко, ярко выразить, все к нему привести — это одна забота его в истории. Мы возвращаемся к главной форме терпимости, которую хотелось бы удержать противникам творческой свободы, к терпимости внутри самой церкви к безверным, которые как ослабшие струны в расстроенном инструменте хотели бы и не звучать, или звучать как-нибудь, и занимать положение, звуку, а не меди струны, принадлежащее.

Конечно, есть свойства и в меди, которые она может, и, в силу природы своей, влечется выразить: тяжесть, и блеск, и твердость; но не здесь она может их выразить, и, ради их — здесь она не может быть пощажена. Пусть это стоит страдания живым струнам; их радость немая или хаотическая, пусть она стала бы возможна, могла ли бы заглушить страдание хаоса или молчания всех остальных струн? И не важно, что их только, но — и страдание мастера, изготовившего чудный инструмент? Что за мысль для куска мела чертить фигуру, не геометром предположенную, но которую, дурно обтесанный, он хотел бы чертить кривым углом своим? Ведь и планете, нами обитаемой, быть может, хотелось бы, сократившись в орбите — пасть на солнце, или, растянувшись в ней — удалиться в темь пространств; и, однако, она удерживается в путях своих, и мы живем, дышим, радуемся и вот обсуждаем вопросы. Почему, когда меня мать носила в утробе, ей было не выкинуть на третий месяц что-то среднее между червяком и человеком; но

---

<sup>1</sup> Кажется, Георгом Брандесом.

вот я родился через девять месяцев, развился, вырос и ни разу законы моей жизни не спутались, не замешались? Мне было бы больно, если бы эти законы спутались; нам было бы больно, если бы законы планеты нашей нарушились; почему, все это сознав, мы одни хотели бы путать законы, и, одаренные разумом, чуткой совестью не хотим докончить секунды закона для другого, когда этот другой века хранил для нас все законы? Что за гнусное чувство нами овладело, как будто после девяти месяцев наши матери выкинули каких-то червяков, и им хочется ползать, а не жить, жевать землю, а не благословлять солнце.

## XIX

Так мало ожидается от нас, так к малому мы нудимся, так хорошо то, к чему мы нудимся, и мы не хотим этого исполнить. Почему так больно нам это понуждение, и образы тюрьмы, запора<sup>1</sup> одни мелькают перед нами, когда нам говорят о законе; почему не образ храма, где ведь также не смеем мы повернуться иначе, чем все, и делаем то, что другие — одно лучшее, что нам приличествует, что приличествует месту. Почему не хотим мы свято взглянуть на природу, на себя: тогда все понятно, понятна невозможность хаоса, безволие к дурному. Как широки пути бесстыдного — неужели они привлекают нас? Как узок путь совести — неужели он пугает нас? Неужели свобода бесстыдного — это радость, связанность совестливого — тюрьма, «особо устроенный каземат»<sup>2</sup>. Но совесть не *моя* только, не *твоя*, не мимо идущего человека есть в истории, но также и совесть нашего времени, моей страны, народа, к которому я принадлежу. Разве каждый из нас не несет на лице своем обезображения, какое есть в этом времени, стране, народе; мне оно больно, и, как каждый, я его не хочу, я его вправе не переносить. Ни — в целом народе, стране, времени; ни время, страна, народ — во мне. Мы все братья, истинно, религиозно братья, а не потому, что живем в одном доме, ездим по одной дороге, из одной лавки берем хлеб. То есть все блюдем друг друга, и еще более — друг в друге блюдем один закон. Что говорить о страдании, о возможной тесноте — она радостна, как радостно всякое лишение, которое я переношу для другого: сперва оно больно, и я хотел бы от него уклониться, но когда исполнил — забываю о боли и радуюсь, что не уклонился. Как мало то, что нас пугает, перед великим, что нас ожидает. Свобода<sup>3</sup> испытана нами и оказалась без-

---

<sup>1</sup> См. конец статьи г. Л. Тихомирова: «Существует ли свобода?».

<sup>2</sup> Определение г. Л. Тихомировым верующей свободы, в отличие от хаотической.

<sup>3</sup> Т. е. в общепринятом смысле, как хаотическая.

вкусной: ею пресыщенный, как часто человек сваливается в могилу, предпочитая ее темь и сырость дыханию этой безрадостной пустотой<sup>1</sup>. Свободен — и один в мире, это человек XIX века; счастлив ли он, велик ли, чего ожидает, на что надеется — не нужно спрашивать. Итак, без этой ненужной свободы, переплетаясь ногами и руками друг с другом, биением одного сердца живущий, снова шумящая листва, на костях древнего Адама поднявшаяся и от Адама до наших дней данный человеку закон почувствовавшая — это ожидается он человека, к этому, судя по совершившимся и неудавшимся путям, он клонится.

## XX

Не для *меня* одного проговорил Синай, прозвучала Нагорная проповедь, но и для *моих* — со мною связанного кровно рода людского. Его грех несую я в себе, его наказание чувствую в костях моих; и как свой член болящий ненавижу, здоровый — люблю, ненавижу или люблю всякого человека, через которого радуюсь или скорблю. Его свободы болеть — нет для меня; как моего права гноиться — нет для него; на иной планете, или на этой же, но по иному закону, чем я, созданный — там только свободен он от меня. Странного права заблудиться, дикого счастья лететь и веять как ветер — не нужно, для бедствия, для радости — этого нет у человека. И растение знает закон свой; животное боится его нарушить; даже камень брошенный, и тот не смеет забыть свою бедную параболу. Один ли человек брошен в природе без закона? Но вот, поняв себя так, одного себя в природе считая свободным, не себя только, но и самую природу он осквернил беззаконием. Закон — это далекое что-то, что я могу и не признать; что кокетливо клонить к себе мою волю, и эта воля может капризно от него уклониться; и этот каприз именно есть главный закон, которого коснуться не смеют другие, хотя бы и божеские. И не касаемые, в своей темной свободе, мы сходим в землю; и живые между нами, кажется, не живет мертвых; бессильно отвислая челюсть не смеет укусить, боится улыбнуться; и руки опущены, едва дышит грудь; только пищеварение совершается, но горло не глотает, и, кажется, нужно будет сделать фистулу, чтобы как-нибудь, на сколько-нибудь времени поддержать — не жизнь, но бытие — единственно свободного в природе существа. Что ты не идешь, бедный: так много дорог перед тобой; почему не играешь, когда руки не связаны, и

---

<sup>1</sup> Никто не может отрицать связи самоубийств, ставших почти эпидемическими в XIX веке, с развитием в нем индивидуализма, в смысле изолированности человека от человека.



задевает, играя, тебя крылом птица, лапой лесной зверь, и все смотрит тебе в глаза, царю своему, ожидая ответной улыбки на игру, жизнь, радость свою — и не находит.

В. Розанов

---

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта  
<http://varvarin.ru>